

Алексей Писемский

**Уже отцветшие цветки
(Капитан Рухнев)**



Алексей Феофилактович Писемский

Уже отцветшие цветки

(Капитан Рухнев)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=661295

*А.Ф.Писемский. Собр. соч. в 9 томах. Том 7: Издательство «Правда»,
биб-ка «Огонек»; М.:; 1959*

Аннотация

«Это было лет двадцать пять назад. Я служил чиновником особых поручений при м-м военном губернаторе. Однажды я получил от него повестку немедленно явиться к нему. Я поехал и застал губернатора в сильно раздраженном состоянии...»

Содержание

Примечания

25

Алексей Феофилактович Писемский

Уже отцветшие цветки¹ (Капитан Рухнев)

Это было лет двадцать пять назад. Я служил чиновником особых поручений при м-м военном губернаторе. Однажды я получил от него повестку немедленно явиться к нему. Я поехал и застал губернатора в сильно раздраженном состоянии.

– Поезжайте сейчас в острог, – начал он сердитым голосом, – там содержится отставной капитан Рухнев, скажите ему от моего имени, что если он еще раз позволит себе шутки в сношениях с начальствующими лицами, так я посажу его в одиночное заключение!

И с этими словами губернатор подал мне данное капитаном Рухневым местному полицеймейстеру объяснение, которое было такого рода: «На предъявленное мне вашим высокородием взыскание имею честь объяснить, что оно взыскание я признаю вполне законным; но удовлетворить его затрудняюсь, потому что, как известно это и вашему высокородию, имею единственное только благоприобретенное состо-

ание – 4-й номер в м-м тюремном замке, который, если ваше высокородие найдете это законным, предоставляю продать с аукциона для уплаты моего долга или предоставить оный и без торгов во владение г. кредитора, каковой номер он может занять, когда только пожелает!»

– Пугните его хорошенько и напомните ему, что я острог в службе не люблю! – заключил губернатор.

Я поехал. Мне давно хотелось посмотреть на Рухнева и побеседовать с ним. По слухам, он был человек умный, большой говорун и ни перед законом, ни перед своей совестью страха не ведавший. Караульный унтер-офицер провел меня к нему в номер. При входе моем Рухнев, окинув меня с некоторым удивлением глазами, вежливо поклонился мне. Я сказал ему свое звание и фамилию. На губах Рухнева пробежало что-то вроде усмешки. Я объяснил ему, в чем состояло мое поручение. Тут Рухнев явно уже усмехнулся и, пригласив меня сесть, сам тоже опустился на свое кресло. Видимо, что он пообжился и пообзавелся в своем номере: у него был письменный стол, на котором стояли чернильница, счета, лежала засаленная колода карт, а около постели лежала огромная датская собака. Рухнев, заметив, что я осматриваю его номер, поспешил сказать:

– Я надеюсь, что вы нашему свирепому начальнику губернии не опишете подробно моего помещения: для заключенного в этом только и отрада!

– Нет, не опишу, – отвечал я.

Рухнев взял меня за руку и крепко пожал ее. По-видимому, ему было лет около сорока. Одежда на нем была не арестантская и состояла из нанкового казакина, на котором висел даже какой-то крестик, и из широких черных, с красным кантом, шаровар. Он был полноват, небольшого роста, с выдвинутыми, как у рака, вперед глазами, которые он закрывал очками; волосы и усы имел подстриженными и вообще в лице своем являл более дерзкое, чем умное выражение.

– Вы изволите говорить, что начальник губернии велел мне напомнить, что он не любит в службе шуток, – заговорил он. – Помню-с это, очень хорошо помню, потому что он выгнал даже меня из службы за мою шутливость.

– За одну только шутливость? – спросил я.

– Да-с!.. – подтвердил Рухнев и, заметив во мне любопытство, он продолжал: – Дело происходило таким манером: я служил исправником, и не по выборам, а по личному назначению самого начальника губернии; сверх того, за мою распорядительность мне, опять-таки лично им же, поручено было смотреть за благочинием и благоустройством присутственных мест. Смотрю я за всем этим: только раз зимой в сени присутственных мест затесалась ворона и, вероятно, перепугавшись и удивившись, где она очутилась, начала метаться по окнам и перебила все стекла. Что тут прикажете делать?.. Медлить нельзя было, снежищу наваливало каждое утро в сени по колено!.. Я велел стекла вставить и доношу губернскому правлению, которое тогда заведывало строитель-

ную часть, что, к великому прискорбию, в здание присутственных мест влетела ворона и, по глупому своему птичьему разуму, перебила все стекла, каковые мною уже заменены новыми и вместе с тем просил распоряжения о возврате мне израсходованной мною на сей предмет суммы. Губернское правление, получив этот рапорт, вошло в такого рода рассуждение, что так как влетение и разбитие стекол вороною показывает явную небрежность со стороны лиц, смотрению которых непосредственно подлежат присутственные места, то израсходованную сумму возложить на виновных, то есть, значит, прямо на мой счет... Мне показалось это несправедливым. В ответ на такое распоряжение я пишу, что, по строгим соображениям настоящего дела, виновною в разбитии стекол оказывается одна только ворона; но что для взыскания с нее мне неизвестно ни места жительства вороны, а равно имущества и капиталов, ей принадлежащих, – в ведомстве моем не состоит, а потому покорнейше прошу о разыскании того и другого учинить должную публикацию; приметы же вороны обыкновенные: мала, черна, глупа!..

Я невольно захохотал.

– Вы вот смеетесь, и я думал, что посмеются только; ан вышло не то-с! – слегка воскликнул Рухнев. – Начальнику губернии подшепнул ли кто, или самому ему помстилось, что будто я под последними словами моего рапорта разумел его супругу, которая действительно была черна, глупа и мала; и он мне, рабу божию, предложил через одно лицо подать в

отставку, угрожая в противном случае уволить меня по третьему пункту без прощения, – хорошо?

– Хорошо, – согласился и я, но вслед за тем прибавил: – Неужели же это одно только и было причиной вашей отставки?

– Конечно, не одно!.. – воскликнул откровенно Рухнев. – Я как теперь понимаю, главная моя ошибка была, что я с духовенством и дворянством не умел ладить. Должность исправника прежде всего дипломатическая: с мужика он хоть шкуру дери – это ничего, – похвалят еще; но попа и дворянина за дело даже не трогай, а по головке его гладь. И, как вот наблюдал я над этим нашим сельским духовенством, так который поп еще пьет, из таких бывают честные и добрые; но которые совершенно трезвые – спаси бог от них всякого; всем они завидуют, против всех злобствуют, и если уж кому крупца от них перепала, – они тебе во всю жизнь этого не забудут. Какой случай у меня был с двумя попами: один из них, с виду этакой степенный, осанистый, всякое дело начинал с крестом да с молитвою, а сам между тем лошадьми торговал, как цыган какой-нибудь: расплодит, знаете, жеребят и начинает их кормить собранным с приходу печеным хлебом, и лошади выходили у него хорошие, так что в околотке их называли особым именем: поповские выкормки!.. Мне тоже тогда... только что я еще определился в исправники... – коренная понадобилась. Присмотрел я у этого попа одного меринка. «Продайте, говорю, святой отец!» – «Купи-

те!» – говорит. – «А что цена?» – «Четыреста рублей!» Меня как варом обдало. «Святой отец, говорю, я исправник! С меня можно и подешевле взять... Если вы пастырь духовный и блюдете вашу паству от греха, так я, говорю, храню вас от конокрадов». – «Не меня, говорит, одного вы храните, а весь уезд... что ж мне за всех откупаться!...» – и ни копейки не спустил. Как хотите, это обидно... Я не даром у него просил выкормка: возьми с меня цену, но только человеческую, а не поповскую... Думаю про себя: «Ну смотрите, святой отец, не попадитесь мне сами... Тогда и я попрошу с вас мзду не малую», – и точно что очень скоро вышел случай к тому: еду я раз мимо села этого священника в день преображенья... идет служба... я в церковь и, по обыкновению, прямо направился в алтарь, где и встал в уголок... В успеньки, как вы знаете, наши деревенские бабы целыми селеньями причащают своих детей маленьких: мрет тех очень много в эту пору. Ягод они, конечно, наедаются и животишки себе расстраивают... Только-с, когда святой иерей наш – и скуфьеносец он был, заметьте, – вышел со святыми дарами и стал совершать причащение, слышу, что такое это?.. Рев, визг и плач раздался по церкви неописанный!.. Я испугался даже; выглянул из-за северных врат, смотрю: другого уж мальчика лет трех подносят к причащению, веселенький этакой, улыбается, а как причастили – заплачет, заорет, а который поменьше, так матери, видно, и унять никак не могут, корчится и кричит младенец почти до черноты... А

тут как нарочно, когда я обернулся опять в алтарь, смотрю: около самого меня на окне стоит бутылка с красным вином, употребляемым для причастия, и не закупоренная даже... Я, по невольному любопытству, хлебнул из нее и чуть сам не заревел, как младенцы те. Вместо кагора, как предписано еще регламентом Петра Великого, оказался чихирь последнего кабацкого свойства, так что ни один пьяный приказный за деньги пить не станет. Хотел было тут же начать дело, но, думаю, в храме божием, во время священнодействия, заводить уголовщину – грех! Промолчал-с! Но тем не менее на той же неделе постарался заехать в заштатный городок Дыбки, где есть ренской погребок, из которого, я знаю, для всего околотка в церкви берут вино. Я прямо в этот погребок: дурака тут какого-то сидельца краснорожего, над всем надзирающего, послал шампанского мне заморозить, а сам немедленно к приходо-расходной книге и на четвертой же странице встречаю расписку отца Николая Магдалинского, этого самого скуфьеносца и лошадиного барышника, в заборе красного вина по рублю серебром за ведро, тогда как настоящего кагора меньше десяти рублей серебром не купишь, – разница, значит, значительная! Я этот листок выдрал и в карман, а в первое же воскресенье опять к обедне в село и только уж не в сюртучке штатском – а в вицмундире и при всех своих крестах и регалиях. В алтарь тоже на этот раз не пошел, а стал направо на дворянской стороне. Опять идет причащение-с, опять мальчишки плачут, так что и утешить их ничем не мо-

гут. Наконец, отец Николай выходит с крестом... Я подхожу и говорю ему: «Отец протоиерей, я желаю с вами объяснить-ся по одному делу!» Он, надо полагать, сметал, что что-то неладное для него выходит, засеменял, заюлил и в гости меня к себе зовет. Я пошел к нему и прямо начал с того, что вот, посещая нередко в успенский пост церковь его, я заметил, что при причащении младенцев, особенно грудных, они очень сильно кричат и плачут, а потому нашел нужным исследовать причины тому, каковая и оказалась в дурном качестве вина! Смутился попенка. «У меня, говорит, вино хорошее покупается!» – «Хорошим, я говорю, оно никак не может быть, потому что вы платите по рублю серебром за ведро, а кагор стоит десять рублей!» – «Как же, говорит, ваше высокородие, вы это знаете?» – «Да я, говорю, видел вашу расписку в книге в погребке и листок этот выдрал». Смутился поп сильно.

– Чего ж он мог смутиться! – невольно перебил я Рухнева. – Дети плакали вовсе не от вина, а что их поражала вся эта церемония!

– Знаю-с это я! – подхватил он, лукаво подмигнув. – И поп это понимал, но заноза тут, чего он испугался, была не в том-с, а что, покупая красное вино по рублю серебром, он ставил его, может быть, в отчете церковном пять или десять рублей, вот главным образом в какую жилу я бил и, кажется, попал в нее, потому что отец скуфьеносец попустил с себя немного важности. «Что ж, – спрашивает он меня, – вы можете мне

этим листом сделать?» Я говорю: «Я не знаю; я представлю его губернатору при объяснительном рапорте, а тот, вероятно, препроводит его к архиерею, который, чего доброго, передаст дело в консисторию». Ну, а для всякого попа, знаете, попасть в лапы консистории все равно, что очутиться на дороге между разбойниками – оберут нагло! «Вы, говорит, совсем уж, видно, очернить меня хотите!..» – «Я, говорю, чернить вас вовсе не желаю, а исполняю свой долг!..» – «Нет, говорит, вы не долг свой исполняете, а потому что вы злобу против меня имеете за выкормка... так извольте, говорит, я вам его подарю». – «Подарков, говорю, я не принимаю, а купить – куплю». – «Прошу вас о том!» – «Что же цена?» – «Что дадите». Я подумал: купить у него совсем дешево – подлю. «Сто целковых, говорю, дам!» – «Берите-с», – говорит, и таким печальным голосом; а на поверку вышло, что выкормок этот никуда не годная лошадь, только что толст, а ленивый, сырой, так что сто целковых цена красная за него была; но попу, по жадности поповской, казалось, что я чуть его не разорил, и принялся он кричать по уезду, что я с него ни за что, ни про что взял выкормка даром! «Ах ты, лживая душа», – думаю, и вся внутренность во мне, знаете, перевернулась от злости за такую клевету... Я дал себе слово во что бы ни стало поднять опять дело об чихире; прямо мне это не удалось, но косвенно, по крайней мере: был-с у отца Магдалинского брат родной, тоже священник в маленьком, бедном приходе... Был он вдов-с и работницу держал молодую,

что по правилам церковным воспрещается, и однажды, когда мне как-то случилось быть в его приходе на весьма продолжительном следствии, слышу я тут, что работница попа беременна-с! Ну и бог, значит, с ней!.. Потом говорят, что работница родила... опять, значит, слава богу – царю прибыль, кантонист новый... Далее меня извещают, что работница эта бегает по селу и плачется, что младенец у нее занедужил, а там и помер, – и это, думаю, возможно; однако все-таки поручил становому узнать: из какой именно деревни работница попа. Дознано-с. Я опять поручаю становому донести, нет ли в этой деревне у кого-либо из крестьян подкидышей... «Есть», – говорят. «У кого?» – «У старика Фадея». – «А как этому Фадею приходится работница попа?» – «Дочерью!» Дело, значит, ясное. У нас обыкновенно все солдатни, коли родят мальчика, так, чтобы избавить его от солдатства, подкидывают отцам своим, матерям, дядям, сестрам, у кого кто есть. Но тут меня заинтересовало другое обстоятельство: все говорят, что ребенок у работницы помер; значит, он и похоронен. Еду я в это село и спрашиваю священника, что действительно ли проживающая у него в работницах солдатка родила, что ребенок у ней будто бы помер и похоронен при его церкви? «Действительно-с», – говорит. – «Но каким же образом, – возражаю я ему, – до меня дошли довольно достоверные слухи, что ребенок этот жив и подкинут к деду?» Поп, как рак вареный, покраснел. «Нет-с, говорит, как это возможно, – помилуйте!» – «Миловать я, говорю, тут не

вправе, а вы извольте мне объяснить: какого именно числа работница родила, когда у ней умер ребенок, а также покажите мне и его могилку». Поп совсем растерялся, завилчал: «Я не знаю, я не помню!» Тогда я работницу его за бока; та тоже мялась-мялась, наконец, показала могилку. Я распорядился могилку эту разрыть; однако говорят, что поп не пускает, запер даже калитку и ворота ограды и что на защиту его прибыл даже благочинный. Ну что ж, милости просим! Вижу я на другой день с этим благочинным, начинается между нами спор. «На каком основании, – говорит мне он, – вы хотите произвести кощунство на церковном погосте, не пригласив даже депутата с духовной стороны?» – «Да вот извольте, говорю, я вас приглашаю, – благо вы прибыли, – я начинаю дознание по рапорту станového пристава!» Благочинный видит, что меня не напугаешь; а потому, содрав с попа многие динарии, уехал к себе восвояси, как бы ничего тут не зная и не ведая. Я, однако, могилку раскопал при понятих, вынул оттуда гробок, раскрыл его, и оказалось, что в нем похоронен был не младенец, а кошка мертвая, и, знаете, не просто, а в этакой тряпке, как бы в саване.

– Почему же они не пустой гробик похоронили? – невольно перебил я Рухнева.

– Точно такой же вопрос и я сделал работнице. Она, конечно, разревелась и говорит, что пустой гробик ей показалось грешно похоронить, а у них тем временем кошечка ее любимая околела, она ее и похоронила! А?.. Умница какая!

Пустой гробик хоронить, по ее, грех, а с кошкой – ничего!.. Я вам говорю – все эти наши русские бабы дура на дуре, свинья на свинье.

– Но священник знал, кого он хоронит? – спросил я.

– Конечно, знал!.. Из его же дома увезли ребенка подкидывать, да вряд ли не сам он это дело и творил, но он, без сомнения, заперся, а также и работница на него не показала. Тем не менее, однако, я обо всем этом деле донес губернатору, так как тут уж действительно производится кощунство; а кроме того, чинится укрывательство слуг царя, должествующих поступать в кантонисты; а также кстати присоединил и об беспорядках брата родного этого священника, торгующего лошадьми и покупающего вместо кагора чихирь астраханский.

– Поблагодарили они, я думаю, вас за это, – заметил я.

– Благодарить-то, к несчастью, не за что было, – воскликнул злобно Рухнев, – их пальцем никто не тронул, потому что черномазая супруга губернатора... – я надеюсь, что вы не передадите ничего из моих слов губернатору, хотя, впрочем, и передайте, пожалуй, мне все равно!.. – супруга губернатора, как всем известно, ханжа великая, водится с архиереями, попами и в то же время держит мужа под башмаком... и можете судить, что для меня из всего этого произошло.

– Но вы упомянули, что и с дворянством тоже не ладили? – спросил я.

– Как вам сказать: с дворянством средней руки – ничего, я

не ссорился особенно и даже хлебосольничал им: всегда уж, кто из них в город приезжал, прямо ко мне: обедает, днюет, а другой и ночует у меня; но вот высшему дворянству, этим, как их там называют, нашим козырным тузам, пришелся не по вкусу, и главным образом наскочил я тут на некоего князя Архарина, самого богатого здешнего помещика и весьма важной особы в Петербурге, благодетеля, по наружности, всех чиновников; им еще издавна предписано было его вотчинному начальству преподносить к рождеству и перед пасхой всей земской полиции праздничные деньги, отводить чинам оной при наезде их удобные квартиры, поставлять содержание и лошадей; но меня, конечно, этим не умаслишь: дружба дружбой, а служба службой! Вышел такой казус: назначен был ко мне в уезд на стоянку полк, – а надобно сказать, что все мужики боятся таких стоянок пуще черта, потому что солдаты, что я знаю уж по своей военной службе, объедают мужиков, да еще вдобавок развращают ихних баб и девок всплошь... Что хотите мужики каждой деревни готовы дать, чтобы не было полковых стоянок, а это зависит главным образом от исправников... Сижу я раз у городничего и играю с ним в преферанс, вдруг вижу, что его вызвали в переднюю к кварташке... Потолковали они там между собою, и городничий опять возвратился играть, – дрянь этакой был, размазня. «Что такое, спрашиваю, не случилось ли чего-нибудь?..» – «Да говорят, – зашамкал он, – что бурмистр князя Архарина другой день здесь в городе пьянствует, буя-

нит, колотит в трактире посуду, стекла!» – «Что ж, говорю, велите его посадить в кутузку», – и тут вдруг, по моей полицейской сметке, пришло мне в голову: бурмистр княжеский кутит, и не на свои, разумеется, деньги, а на княжеские, между тем идет разверстка по солдатскому постою, – не на этот ли предмет он учинил сбор с крестьян и пропивает его? «Вы, однако, – говорю городничему, – прикажите попридержать этого пьяницу в полиции, потому что я нюхом чувствую, что тут что-то нечисто». И так меня стала моя мысль подмывать, что я, не кончив даже пульки, уехал домой, сел в тарантас и отправился в село Зиньково – главный пункт всех княжеских имений; спрашиваю: «Где бурмистр?..» – «В отлучке», – говорят... Я велел сотским, которые были половчее, разведать, не происходило ли чего особенного в вотчинной конторе князя, и оказалось, что там случилось точь-в-точь, что я предполагал: была в недавнее время мирская сходка мужиков и собрана с них значительная сумма на откуп от солдатского постоя; сверх того: сбор этот был произведен на мое имя... Тут уж я не на шутку взбесился: послал двух сотских в уездный город и велел им, по бумаге от меня, взять у городничего бурмистра, привезти его ко мне живого или мертвого, связанным или несвязанным. Поутру доставили мне моего голубчика... Рожа у него, я вам говорю, была на облик человеческий непохожа: оплывшая, вся в синяках, исцарапаная, в крови... Видно, его самого тоже тузили в трактире не жалеючи. «Где деньги, которые ты собирал на мое

имья?» – спрашиваю его прежде всего. Он мне в ноги. «Виноват, говорит, деньги одни прогулял, а другие украли у меня». – «Врет», – думаю и велел его раздеть догола... Денег не оказалось... успел уж каналья передать их кому-либо из своих!.. Имея все это в виду, я посек его и не очень сильно, и спрашиваю вас теперь, сделал я в этом случае что-нибудь противозаконное?

– Сделали, – сказал я ему откровенно.

Рухнев гордо и с удивлением выпучил на меня через очки свои глаза.

– Вы должны были бы не сечь бурмистра, а произвести формальное следствие об его поступках, – добавил я.

– О хо, хо, хо! – воскликнул Рухнев. – Вы поэтому не понимаете полицейской службы. Как нам заводить письменные дела о плутнях всяких старост, так и бумаги недостанет. И что хуже всего: князь, казалось бы, стоявший на таком высоком посту, так же понял это и вместо того, чтоб поблагодарить меня и сменить своего бурмистра, он написал гневное письмо против меня губернатору, изложив не то, что от меня узнал, а что донес ему сам бурмистр, что будто бы я это заставлял его делать сбор и что, когда он послушался меня, я отпорол его не на живот, а на смерть!.. Хороша логика тут: человек меня послушался, а я его наказал за это!.. Но, как говорится, княжеская голова: пусто, видно, в ней, звенит!.. Словом-с: все точно нарочно слилось в одно, чтобы погубить меня совершенно, так как я, скажу уж это с гордостью, каким

поступил нищим на службу, таким нищим вышел из нее.

Проговоря это, Рухнев знаменательно мотнул головой и замолк.

Не было сомнения, что он вышел из службы без копейки, но никак уж не от бескорыстия, а оттого, что, по своей размашистой натуре, все мгновенно проживал, что наживал. Таких типов было и будет всегда много, и Рухнев разве только превосходил их тем, что ему решительно уж ничего внутри не мешало измышлять и приводить в исполнение всякого рода плутни и мошенничества, доходя иногда до глупости, до дурачеств!

– А за что вы сюда попали? – пожелал я узнать, хотя отчасти и слышал об этом.

Рухнев захохотал.

– Да опять, – воскликнул он, – та же почти старая песня, что была у меня с попами и бурмистром, повторилась: здешние начальствующие лица как ненавидели меня на службе, так ненавидят и до сих пор... Я хотел-с, по долгу каждого дворянина, открыть им уголовное преступление, а они меня самого повернули в преступника!.. Дело это любопытное... Сначала я сердился, а теперь уж смеюсь, потому что оправдаться я оправдаюсь; но нельзя же так надругаться над человеком, как они надругались надо мной и как еще, кажется, намерены надругаться. Началось с того: еду я однажды ночью на легковом извозчике, на котором и прежде, во дни моего богатства и славы, ездил и платил ему хорошо. Разго-

ворился я с ним о тем о сем... Он был выпивши порядочно и только вдруг обертывается ко мне и спрашивает меня: «Как ты думаешь, барин, почту обокрасть можно?» Я, по своей привычке шутить всегда, отвечаю: «Отчего ж не можно – можно! Умным людям только, а не дуракам!..» Он помолчал немного. «То-то, говорит, удалых из нас много, а умных нет!» Тут у меня мелькнула другая мысль: «Черт их знает, умных они, пожалуй, и приищут!» – «Что ж, говорю, если между вами удалых много, так умным я могу быть у вас!» – «А разве ты пойдешь на это дело?» – спрашивает он меня. «Отчего ж, говорю, не пойти? Чем топиться в реке от голоду, лучше малую толику заработать!» И пошло тут между нами по этому предмету каляканье. «Много ли по почте возят денег? Правда ли, что тысяч по двадцати?» – спрашивает он. «Какое, говорю, и по двести возят». – «То-то, говорит, тоже надо набрать народу человек десять, ружьев искупить, пороху, пуль!» – «Достанет на всех и на все!» – ободряю я его; а сам на другой день отправился к жандармскому полковнику, повествую ему, что вот так и так...

Рассказывая это, Рухнев вовсе и не подозревал, до какой степени он сам являлся омерзителен, и продолжал далее:

– Выслушал меня господин полковник внимательно, но в толк, вижу, ничего не взял и, вместо того чтобы к малейшему слуху держать ухо востро, только хлопает, как филин, глазами. «Хорошо-с, говорит, наменуйте этих заговорщиков, мы их сейчас переловим!» – «Переловить их, – толкую я ему, –

никакой пользы не будет!.. Заговор у них еще не созрел!.. Вы, говорю, дайте мне первоначально на раскрытие этого дела триста рублей серебром, – я всю их шайку окончательно выщупаю, соберу их всех к себе и живьем вам выдам в руки!..» Опять явилось затруднение по случаю требования моего, чтобы мне прежде всего было выдано триста рублей. «У нас, говорит, нет на это сумм!» – «А когда нет, так прощайте, без денег мне ничего тут не сделать!» – «Но постойте, говорит, я должен по крайней мере прежде всего посоветываться с начальником губернии!» – «Это, говорю, сколько угодно, вам, советуйтесь; но сущность дела от этого не изменится: своих денег у меня нет, а поэтому я и сделать ничего не могу!..» Крутит мой полковник свой ус и отпустил, наконец, меня; советывался он с губернатором дня два и на третий приглашает меня к себе, выдают мне триста рублей и читают такую рацею, что если я ничего не открою, так они распорядятся со мною по всей строгости росейских законов!.. Открыть мне, конечно, очень легко было: я в один зимний вечер рассадил в моей квартире под полом жандармов, созвал всю извозчичью шаварду, начинаю с ними говорить по душе. Они, как водится, выболтали все, как и когда думают ограбить почту, потом, конечно, жандармы арестовали всех нас. Сначала я думал, что меня, собственно, берут для виду только, но когда началось формальное следствие, то оказалось, что я такой же арестант, как и извозчики, и что я в чем-то заподозреваем. Следствие поручено было полицеймейстеру

– злейшему моему врагу по разным моим столкновениям с полицией, и он вывел так, что ограбление почты выдумали не извозчики, а я их на то подговаривал!.. Понимаете, слова-то мои, которые говорил я для шутки, для выпытывания, господин полицеймейстер, а вместе с ним и губернское правление, поняли так, что я говорил все это взаправду... Я, конечно, в своих показаниях и на всевозможных очных ставках старался опровергнуть подобную бессмыслицу и теперь вот посмотрю, как уголовная палата взглянет на это дело... Смешно-с, ей-богу, смешно!

Я сидел молча и потупившись, чувствуя невыносимое озлобление на Рухнева за его бесстыдство, наглость и лживость.

Он это заметил и проговорил:

– Вы мне тоже, может быть, не верите?

– Не верю! – ответил я ему строго.

Рухнев усмехнулся.

– А верите ли тому, что я буду оправдан?

– Этому верю!

– Почему?

– Потому что Фемида вообще, а у нас в особенности, слепа.

– Это так, так!.. – весело подхватил Рухнев.

На том наше свидание и кончилось.

Прошло лет десять. Я жил уже в Петербурге и, идя раз по Невскому, встречаю Рухнева в толстом, английского покроя,

внушительном пальто, в сапогах на пробковой подошве, в кашне из настоящего индийского кашемира, в туго надетых перчатках, в шикарной круглой шляпе, – и при этом самодовольство светилось во всем его лице. Узнав меня, Рухнев протянул мне почти дружески руку, которую я, делать нечего, пожал.

– Зайдемте к Палкину позавтракать... Отличнейший там делают салат из ершей! – пригласил он меня сразу же.

Я отказался.

– Вы знаете: я с этими господами, которые, помните, упрятали меня в острог, порасквитался немного: одного, милостию божией, причислили к запасным войскам, а господина полицеймейстера и совсем по шапке турнули... Он, полячишка, чересчур уж не скрывал своей любви к родине, – тараторил Рухнев.

– И все это вы устроили? – спросил я.

– Отчасти! – отвечал он хвастливо. – Я в подобных случаях ни у кого еще в долгу не оставался!..

– А сами вы оправданы судом? – кольнул я его.

– Оправдан, если хотите, – отвечал Рухнев уж скороговоркой, – но подвергнут там... этому нашему великому мудрому изречению: Оставить в подозрении.

– На службу поэтому вы поступить не можете! – продолжал я язвить его.

– Разумеется, – воскликнул он, – но я об этом несколько и не жалею: нынче столько открылось частных и обще-

ственных деятельностей, что всякий неглупый человек может не бояться, что он умрет с голоду!.. Я в новых учреждениях имею даже не одно, а несколько мест...

В это время густо шедшая толпа разделила нас, и я видел только, что Рухнев, приветливо кивнув мне головой, завернул в палкинский трактир, я же невольно подумал про себя: «Ну, не поздравляю эти общественные и частные деятельности, которые приняли господина Рухнева в лоно свое».

Опасение мое оправдалось впоследствии: Рухнев оказался одним из первых в многочисленном списке обворовавших свои учреждения, я – увы! – приговора своего он не дождался и отравился в тюрьме, очень испугавшись, как меня уверяли, нового суда: отписываться и отговариваться он умел, но явиться и оправдываться перед глазами целой публики – сробел!

Примечания

Впервые напечатано в «Газете Гатцука» за 1879 год (№№ 2 и 3) с подстрочным примечанием к первому заглавию: «Это ряд рассказов из жизни и типов 40-50-х годов». О том, что «Капитан Рухнев» открывал серию рассказов из прошлого, Писемский сообщал и переводчику своих произведений на французский язык В.Дерели: «Рассказы такие по мере воспоминаний из моей прошлой и довольно уж длинной жизни я буду продолжать и ради чего озаглавил их: «Уже отцветшие цветки» (А.Ф.Писемский. Письма. М. – Л. 1936, стр. 403).

Однако этот замысел не был выполнен. «Капитан Рухнев» остался единственным рассказом этого цикла.

В настоящем издании воспроизводится текст первой публикации.

М.П.Еремин